

Г.А. Адасинская

Воспоминания

Столько проблем с этими воспоминаниями – как писать. Для кого писать? Для себя – ей-богу, неинтересно, а для кого-то... Не знаю, на знаю... А, главное, с чего начать... С бабушек-дедушек или только о себе... Или сделать отдельные части... А если о себе – с детства или с 12 февраля 1938 года, когда арестовали папу...

Пришли ночью, сколько их было – не знаю – ни Мите, ни мне не разрешили выходить из своих комнат. Обыск был скоропалительный, покопались только в книгах в средней комнате, в наши с Митей комнаты только заглянули, спросили: «Тут что?» и дальше порога не зашли. Папа попросил разрешения попрощаться с детьми, зашел к Мите, зашел ко мне. Последние его слова были: «Галюшка, ты во мне не сомневайся...» Утром мы проверили книги – она валялись на полу – и обнаружили, что взяты папины фотоальбомы, где были его фотографии Карской экспедиции 1928 г. (или 27 г.?), в которой папа участвовал в качестве фото-корреспондента, что взяты папины книги по Арктике и вообще по Северу – у папы были редкие старинные книги.

Маме сразу пришлось идти работать., на этот случай в нашем Доме была организована Артель рыболовных принадлежностей, где работали жены арестованных политкаторжан – те, кого не выслали или пока не выслали. На ул. Воинова удалось выяснить, что папино дело ведет прокурор Израилит, каждого 15-го числа можно было, назвав фамилии прокурора и папы, передать 35 рублей. Этим занималась я, мама работала. Когда я пришла с деньгами 15 июля 1938 года, мне сказали, что папа отправлении 17 июня 1938 года в дальние лагеря без права переписки сроком на 10 лет... Я спросила, могу ли я побеседовать с прокурором Израилитом. Молодой человек в окошечке тут же ответил: «Прокурор Израилит расстрелян, как враг народа».

В школе я, как положено, на следующий день после папиного ареста, написала заявление в комитет комсомола «с просьбой «разобрать мое дело». Вскоре состоялось комсомольское собрание (школьное), на котором какой-то районный комсомольский деятель говорил, что надо решить вопрос о пребывании в комсомоле дочери врага народа. И тут произошло что-то невероятное – встал кто-то из ребят нашего класса и сказал: «Если Адасинскую исключат, мы все уйдем из комсомола!» Что тут поднялось, районный деятель, весь багровый, орал о потере бдительности, ребята кричали свое – это впервые, ведь сколько уже ребят исключили... И я осталась в комсомоле! И ребята выбрали меня

классным комсомольским группоргом и наша организация вышла на первое место в школе по каким-то там показателям (Когда меня арестовали, следователь не верил своим глазам, держа в руках комсомольский билет...)

Летом, после экзаменов, я устроилась на работу в летнюю библиотеку-читальню в Таврическом саду. (Среди моих читателей были бабушка и внучек Бобрищевы-Пушкины...)

А 18 августа 1938 года нас уехали в Рыбинск. Утром 18-го на Дворцовой я купила букетик ночной красавицы. И до сих пор мелкий дождь и запах цветов.

Провожали меня Рома Зарембский с цветами и Валя Раковский – он подарил мне крошечный томик Маяковского с надписью: «Для веселия планета наша мало оборудована, надо вырвать радость у грядущих дней...»

В Рыбинске мама поступила на учительские курсы, а я устроилась в городскую библиотеку (основы библиотечного дела мне еще в Доме преподавала Мария Аркадьевна Степанок-Беневская, ведавшая Библиотекой в Доме – да будет земля ей пухом! Как меня спасало это умение! (Нищета в Рыбинске отчаянная, мы в Ленинграде жили под стеклянным колпаком, даже не подозревая, в какой скудости живет народ. В Рыбинске собралось много ссыльных, в основном, из Ленинграда. Интересные были люди. На городском базаре была будочка «холодного сапожника», заказы принимала Вера – отчество не помню – Скалон, говорили, что чуть ли не дочь инкутского губернатора, немолодая женщина с обветренным красным лицом, а в глубине будочки сидел собственно сапожник – черноглазый, измождено-худой, между собой они говорили на французском языке. Среди читателей библиотеки были братья Ланские. Уроки французского языка (почему-то я надумала учить его!) мне давала старушка урожденная Голенищева-Кутузова, как-то она показала мне фотографии (дагерротипы) в молодости – какая была красавица! Остались только такие живые карие глаза... Знакомиться, разговаривать с людьми почему-то не приходилось, вероятно оттого, что совершенно не было времени. Я по первости начала учиться в вечерней школе, но когда пришла зима, поняла, что не выдержу. Мы жили не в самом городе, а на другом берегу. Летом работали речные трамвайчики (матросы матерились, а мне это было как-будто мне плюют в лицо, на работу и домой я приходила в слезах), а зимой мы ходили в город по льду. Одетая была (вернее, обута) совершенно не по сезону, в резиновые ботинки, и, конечно, застудилась на всю жизнь. Как мы протянули зиму одному богу известно, мама училась, я получала 140 рублей. Мама иногда кому-то шила, продавала что-то из своих платьев. Митя учился. Жили мы в какой-то маленькой комнатухе. Яркое воспоминание – частые пожары, дома понастроили деревянные, а колодцев почти не было. Ведь началось

строительство Рыбинского гидроузла, народу появилось много – и заключенные, и ссыльные, и просто строители.

Зато библиотека, в которой я работала, была просто великолепная. В основе – реквизированные в революцию купеческие собрания, было много редких книг, старопечатных (напр. Остромирово Евангелие). Все это было в так наз. запасном фонде, их не выдавали на руки, но я-то копалась в них от души.

Весной 39 г. мама получила диплом учителя, ее направили на работу в сельскую школу в д. Гашки, неподалеку от Ярославля. В Гашках была только семилетняя школа, и Мите пришлось, для продолжения учебы, уехать в городок Нерехту, это недалеко, каждый выходной Митя приезжал в Гашки. Мама с осени стала преподавать в школе математику, физику, немецкий, черчение, еще что-то. А я работала «культурником» в колхозе, читала в поле колхозникам газету, выпускала стенгазету и т.п. А в ноябре 1939 г. я прочитала объявление в газете, что Вологодскому Молочнохозяйственному институту требуется зав. отделом художественной литературы в институтскую библиотеку. Я списалась с ними и уже с 5-го ноября 1939 г. стала там работать. Это мне было 17 лет! Я проработала там год, да еще успела съездить в Москву на месячные курсы повышения квалификации директоров вузовских библиотек (откуда в сентябре 1940 г. получила приглашение поступить на заочное отделение Московского Библиотечного Института, что я и сделала, сдав экзамены в Вологодском Пединституте. В вологодской институте мне дали комнату в студенческом общежитии <...> друзей у меня особых не было, сблизилась я только с девочкой- первокурсницей Лидой Рубан, такая тихая беленькая девочка с косичками. Наше знакомство было недолгим – вышло постановление о плате за учебу, и Лида уехала в Новосибирск, где у нее был высокопоставленный дядюшка, на чью помощь Лида рассчитывала. Мы с Лидой переписывались, и, кроме того, я вела дневник, куда по девичьей манере записывала все свои «переживания» и немногие события. Жилось мне трудно, хотя я получала 350 рублей, маме я не помогала, но и ее помощью не пользовалась. После Лиды у меня появилась знакомая – педагог из местной школы Ксения Яковлевна Чекина, 36-летняя яркая женщина, муж которой был арестован, кажется, в 1937 г. На каких правах она была в Молочном, совершенно не помню, быть может, в ссылке?

В ноябре я вернулась к маме, тяжело всё же жить одной. Устроилась в Ярославскую областную библиотеку методистом - инструктором библиотечного дела, потом меня назначили зав. метод кабинетом. Это было в феврале 1940 г. Я нашла угол у одной женщины, вернее, койку, на которой днём спала девушка, постоянно работавшая в ночь, а я, значит, спала там ночью. Но после того, как на меня, когда я шла с работы, напал пьяный, я предпочитала ночевать в библиотеке. Работа у меня была интересная, ездила в

командировки по городам Ярославской области, проводила в библиотеке обзор новых поступлений, помогала во всяких библиографических справках. Меня уважали за хорошее знание литературы, за спокойный характер. Познакомилась с поэтом Марком Лисянским, он жил тогда в Ярославле. Порадовала хорошим знанием поэзии начала века, читать стихи могла часами. У меня был свой кабинет в библиотеке, мы часто вечерами разговаривали о том, о сём. Он читал мне свои стихи, помню только первые строки некоторых – «На ипподроме кони ржали, пришла весна на ипподром...». «На семи земляных таблицах, на семи золотых страницах написал на песке и глине человек о земле былинную...», «...Начинается всё улыбкой, а кончается... не говори.. Пусть играет легкая скрипка от зари до другой зари». Вот так и шла низенькая, торопливая, насыщенная, скудная материальными радостями, но богатая людьми, книгами.

28-го мая 1941 г. в Ярославском отделении Союза писателей должен был быть литературный вечер М. Лисянского, на который он меня пригласил, пообещав читать для меня стихи, за которые его ругали – «Начинается всё улыбкой...» - он считал, что они ему удались.

28-го я оделась понаряднее (мой гардероб насчитывал две одежки - платье, сшитое из двух лоскутов коричневого и серого цвета, выкрашенных в чёрный цвет, и чёрный же сарафан, к которому была пара блузочек, парадную я связала сама, что-то такое сиреневое) – сарафан с сиреневой блузкой. Было славное солнечное утро. У входа в библиотеку меня остановил милиционер в сером плаще, спросил: «Вы Адашинская?» - «Да» - Вот тут и кончилась моя жизнь...

Он сказал: «Вам надо ненадолго проехать со мной, Вы скажите на работе, что Вам нужно в редакцию "Северного рабочего"». А я, действительно, бывала в «Северном рабочем» - я давала туда небольшие заметки о новых поступлениях в библиотеку. Я зашла в библиотеку, сказала заведующей, что приду позже. За углом стояла машина, и мы поехали. Я спросила: «Куда мы едем?» - «Да тут, недалеко...» И приехали мы к дому, где я снимала койку! Он быстренько забежал в комнату, спросил: «Где Ваши вещи?». Я показала сумку, где лежала смена белья. «Как, это всё?!». Я объяснила, что каждый выходной езжу домой, к маме, и держать много вещей здесь мне незачем. «А где Ваши книги, письма?!» - «У меня в кабинете». И мы поехали обратно. В библиотеке я выгребла из стола кучу писем, дневники, тетради с институтскими работами и всё положила перед ним, на другой стол. И вот тут, глядя на его руки, лихорадочно перебирающие конверты, услышав его радостный возглас: «Вот они!», я поняла, в чем дело.

Необходимое отступление: С моей вологодской знакомой Лидой Рубан мы обменивались нечастыми письмами. И вдруг она стала писать мне странные вещи. В одном

письме: «Вася предложил мне лететь с ним в Латвию на самолёте с золотом... В следующем письме: «Вася предложил Жене контрреволюционную работу, Женя сообщил об этом в органы НКВД, но со стороны НКВД никаких мер не принято, что для меня очень странно...» И в конце этого письма какой-то глупейший анекдот о Сталине. Да, и просьба письмо уничтожить, чего я, к счастью не сделала. Насколько я помню, на эти письма я даже не ответила. (Фразы из лидиных писем мне столько раз предъявляли на допросах, что я их буду помнить всю жизнь!) И вот эти-то письма и мои дневники и обрекли меня на тюрьму. На той же мамино мы поехали в Ярославский НКВД. Привели меня в кабинет, где вскоре поивился второй человек, тоже, как выяснилось, мой следоватль. (Первого звали Ромнн Захарович Бендерский, второго - Леонид Осипович Бебин. Кроме них на допросах часто присутствовал Леонид (не помню) Кантор). Должна сказать, что держались они все вполне корректно, никаких грубостей не было. И вот Бендерский мне заявляет: «Вы обвиняетесь в принадлежности к молодёжной контрреволюционной организации!» И начался какойто бред. Я была спокойна, я была уверена, что сами следователи понимают нелепость этого обвинения, и я с самого начала сказала, что это глупости, ни в каких организациях я не состояла. И они сами особенно не настаивали на этой чуши. Но стали терзать другим: «Вы знали, что существует такая организация!», «Вам писали об этом». Я пытаюсь объяснить, что кроме как неумной выдумкой эти письма не назовёшь, да, кроме того, там, в Новосибирске, если верить бредням, какой-то Женя поставил НКВД в известность. «Всё равно, Вы были обязаны и здесь сообщить нам». Я говорю: «О чём сообщать?! Судя по тому, что вам был известен даже внешний вид этих писем, Лида Рубан писала их под вашу диктовку...» Да, когда ещё звучало слово «организация», это на второй или третий день меня отведи к начальнику следственного отдела майору Кримиану (или Кремьян?) Он мне сказал: «Вы не сознаётесь? У нас есть средства заставить Вас заговорить».

Я ответила: Я в вашей власти...» Когда меня привели в камеру, я решила проверить, выдержу ли я пытки. Я ведь курила, у меня были папиросы. И вот я закурила и горящую папиросу прижала к внутренней стороне руки. И ничего, не вскрикнула, не отдернула руку... Ожог довольно долго не заживал. Да, надо же рассказать о самой тюрьме.

Первый допрос длился до глубокой ночи, Бендерский даже распорядился накормить меня - принесли на подносе стакан молока и что-то печёное, я отказалась, он сказал: «Выпейте молока». Я так чётко помню ощущение от глотка молока - песок в горле! Привели меня в камеру, я села на койку, так и просидела до утра. Утром распахнулась дверь, и бравый молодец в военной форме громко сказал: «На opravку!» Я спросила: «Что?» Он повторил: «Идите на opravку». Я говорю: «Простите, не понимаю, куда мне

надо идти». Он кричит: «Да в уборную!» Хлеб, который приносили по утрам, я убирала в тумбочку, а всю еду возвращала нетронутой. И вот на пятый, кинется, день я говорю тому, кто приносил еду: «Мне не надо хлеба, у меня много» - и выгребла хлеб из тумбочки на окошечко, в которое подавали еду. Окошечко захлопнулось, и через несколько минут в камеру вошло несколько человек, впереди в белом халате врач. Он спросил: «Почему Вы отказываетесь от еды?» (Они решили, что я объявила голодовку!). Я сказала: «Да просто не хочется есть». Он сказал мне: «Вам, возможно, придётся пробыть здесь долго. Надо быть сильной» и распорядился принести завтрак. И я при нём съела несколько ложек - чего?! Много раз пыталась вспомнить, чем же кормили в тюрьме - нет, не помню!

(В воспоминаниях Евг. Гинзбург - она ведь сидела в Ярославле - говорится о враче. Мне кажется, что именно о том, с которым мне довелось встретиться еще раз. В камере (я ведь сидела в одиночке) было невыносимо жарко. В одно прекрасное утро я увидела, что вся покрыта мелкой красной сыпью, перепугалась, постучала в окошечко, попросила вызвать врача. Он пришел, внимательно осмотрел меня, вышел, вернулся с лупой, изучал эту сыпь, и вдруг с таким облегчением сказал: «Господи, да ведь это детская потница!» Принёс мне детскую присыпку, и за пару дней всё прошло. Такой спокойный немолодой худощавый человек. И ещё раз, только уже не со мной, а с мамой произошёл такой занятный эпизод. Мы встретились с мамой в пересыльной тюрьме в Коровниках, и мама рассказала что с ней 30 июля произошёл странный случай. Поздно вечером её провели в кабинет врача, он участливо спросил, как она себя чувствует, проверил пульс, дал ей выпить валерьянки, сказал что-то успокаивающее... Мама ничего не поняла. А я поняла! 30 июля меня судили, вопреки правилам, привезли обратно во внутреннюю тюрьму (обычно прямо из суда везли в пересылку). И вот врач решил, что судили маму и так проявил своё сочувствие.

Тем временем следователи прочитали мои дневники (12 школьных тетрадей) и выловили в них несколько крамольных мыслей и фраз.

Подробнее о допросах, о тюрьме.

Следователи представлялись, называя свои имена - Бендерский сразу, потом пришел Бебин, Бендерский сказал: «Он так же будет заниматься Вашим делом». Но допросы вёл Бендерский, Бебин обычно сидел где-то сбоку, изредка задавал вопросы. Они долго рассматривали документы, которые были у меня в сумочке – паспорт «Это почему вы по паспорту русская?! Скрываете свою национальность?!» Я рассказала, что, когда получала паспорт в 1937 году, паспортист, прочитав в моей метрике «мать - еврейка, отец - поляк-чех», спросил меня: «Так какую национальность вам писать?» Я говорю: «А какую

хотите!» Он: «А какой язык Ваш родной?» Я сказала, что говорю только на русском. Он: «Так я напишу Вам «русская». И написал - в 1937 с этим было свободно. А следователи-то евреи, оскорбились. Про комсомольский билет я уже говорила. Пролистали записную книжку, о каждом имени снашивали: «Кто у неё (у него) репрессирован?» и очень удивлялись, когда о некоторых я говорила: «Никто». У меня с собой были две фотографии нашего класса - разглядывали, расспрашивали. Потом дали мне большой конверт, сказали: «Сложите в конверт всё, что хотите сохранить, мы Вам потом всё вернём». Я сложила в конверт эти фотографии, какие-то справочки - что у меня там с собой было. Заклеила, своей рукой написала свою фамилию. И в 1953 году в Сибири на адрес Шиткинского леспромхоза в Шелаево, где я работала, пришел пакет, а в нём тот самый конверт! И адрес мой знали. Это ж надо - столько лет быть под их наблюдением...

Сначала все вопросы были вокруг злополучных писем. Ну, например: «Как Вы могли опустить, что Вам пишут такие антисоветские анекдоты о Сталине? Моей дочке три года, но скажи кто-нибудь при ней плохо о Сталине - она глаза тому выцарапает!» Я: «А Вам приходилось наблюдать такое?» Поперхнулся, замолчал. Мне дали хорошую характеристику на работе. «Вы нарочно хорошо работали, чтоб скрыть свою контрреволюционную деятельность». Но я уже говорила у меня сложилось чёткое представление, что они сами не принимают всерьёз свои обвинения в моей «деятельности». Меня предупредили, что что через 14 дней - срок предварительного следствия - мне предъявят официальное обвинение. А пока... вычитали в дневнике, что мы с Ксенией Як. Чекиной, попав в ближнюю деревню (как агитаторы, что ли), пришли в ужас от нищеты её обитателей (помню до сих пор - полутёмная комната, груды тряпья на топчане, железная кружка на голом столе пара табуреток и больше в комнате ничего). В протокол допроса записывают: «Значит, Чекина говорила, что наши деревни нищие?» Бщё по какому-то поводу прозвучало её имя. Я спросила: «Вы арестовали Кс. Як.?» «Нет, что Вы, она же не занималась контрреволюционной деятельностью, как Вы» (Через много-много лет, где-то в конце 70-х гг. мне позвонили – «Чекина!» Я поехала к ней. Это где-то вроде... нет, не помню, не буду врать. Открыл мне кто-то, не она, она плохо передвигается - полная, очень бедная, но лицо живое, весёлое (ей где-то под восемьдесят). Мы как-то сбивчиво, торопясь говорили, она сказала: «Ты там что-то обо мне сказала, но я на тебя не сержусь...» В комнату кто-то заходил, мы не могли толком поговорить, я не сказала ей, что не я, а мой дневник сказал о ней...

Больше мы с ней не виделись. Возможно, ей быдо неприятно, что я помнила имя её вологодского приятеля, назвала его, когда она сказала, что живёт с детьми и мужем, и я

ляпнула: «С Резниковым?». Комната, в которой я у неё была, богато обставлена, красивая мебель.

Потом вычитали в дневнике, как я сетовала на своё убогое существование. «...как надоели эта бедность, эти копеечные расчёты...» и в скобках: «жить стадо лучше...» - начало знаменитой фразы Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее...» Ах, Вы не согласны с лозунгами партии, а как Вы относитесь к таким словам Сталина (цитата), к таким, как Вы относитесь к мирному договору с Германией? И тут я сказала: «Я считаю, что у коммунизма и фашизма не может быть общего пути, и рано или поздно Германия подложит нам свинью». Я все-таки была смелая девочка. В официальном обвинении, предъявленном мне на 14-ый день, был пункт «дискредитация лозунгов и государственных постановлений».

О том, что началась война, я, естественно, не знала. Почему-то повесили тёмную занавесь на окно в камере - высокое, маленькое, с намордником, в коридорах лампы стали синие... Бендерский спросил: «Вы обратили внимание на тёмные занавеси, на синие лампы?» Я: «Да» - «И как Вы это объясняете?» Я: «Вероятно какие-то военные учения идут?» - Он: «Совершенно верно». И только когда ко мне в камеру на несколько дней посадили какую-то женщину, я узнала - война!

В конце июля, перед судом, мне дали просмотреть моё дело. В присутствии прокурора. Я, конечно, стала искать тот лист, где был вопрос и ответ о договоре с Германией. Листаю, листаю - нету! Я говорю прокурору, что вот был такой вопрос, и вот так я на него ответила - почему же нет этого листа в деле? А он так спокойно, с растяжкой говорит: «Ну, ведь это же несущественно...» Вот так. Что уж там говорить, что я не узнавала свои ответы, что вместо написанного от руки во множестве появились листы, напечатанные на машинке...

Было много вопросов, касающихся нашей жизни в Берлине. Но я сказала, что следует помнить, что мы уехали в 1927 г., мне было 5 лет. А вопросы были такого типа: «Кто из видных троцкистов бывал в вашем доме?» (!). И вдруг начались вопросы: «Что Вы знаете о контрреволюционной деятельности вашей матери?» Я говорила, что не было такой деятельности, мои родители честные люди. И Бендерский как-то говорит: «Да, ничего Вы не знаете, Вы не знаете даже, что Ваши родители в 1921 году нелегально перешли границу». Я сказала, что это невероятно, ведь папа работал в советском учреждении, никогда у нас в доме не звучала даже намёка на такое. Правда, больше никогда на эту тему Бендерский не говорил. По этому разговору, а так же по некоторым ещё признакам я поняла, что маму арстовали. (Открывается окошечко в камере, оттуда палец тыкает в моём направлении, говоришь фамилию, имя, отчество – «Нет, не она...» Приносят бельё,

кладут стопку на окошечко, спрашивают: «Адасинская? Что сдавала?» Начинаю перечислять, там перебирают бельё – «Нет, не её»).

Вот так два с лишним месяца продолжались допросы, да, конечно, мне как и всем, вероятно, предложили «оказать помощь органам», я сказала, что это не в моём характере, больше никогда разговора на эту тему не возникало.

Потом, когда мы встретились с мамой, она мне рассказала, что Бендерский (её допрашивали те же следователи) как-то сказал ей: «Замечательная у Вас дочка, орел, а не девка! Но Вы нлого воспитали её. Ничего, мы ее перевоспитаем!» Я помню, что часто вызовы на допрос, вернее, допросы превращались в разговоры на самые отвлеченные темы. Но подробности этих разговоров, увы, ушли из памяти.

Но вот кончились разговоры, дали мне - я уже говорила - просмотреть моё деле и 30 июля 1941 г. повезли меня на суд. Судил меня Ярославский областной народный суд. Судья - молодой человек в рубашечке с короткими рукавами, заседатели - две молоденькие девочки. В зале, кроме меня, несколько конвоиров. Скороговоркой судья прочитал обвинительное заключение: «Статья 58-10 - антисоветская агитация, ст. 58-12 – не доноительство». Ни прокурора, ни адвоката на суде не было, сроки наказания называл судья - по п. 10 - десять лет исправительно - трудовых лагерей, по п. 12 - шесть лет ИТЛ, для отбытия наказания по признаку поглощения большим сроком меньшего - назначается 10 лет лагерей. Всё это буквально за пять минут, уже на бегу судья пркричал что-то о праве подать жалобу, и все трое унеслись. Ах, да - мне раньше предоставили последнее слово! Я сказала, что ни в чём не виновата, и верю, что рано иди поздно восторжествует справедливость. Убежали судьи, конвоир подошел к стенным часам, стал их заводить, что ли, а они вдруг начали бить - гулко, медленно, без счёта. Конвоир говорит: «Этот бой ты никогда не забудешь...» Кто-то из конвоиров спросил, сколько мне лет. Услышав, что 19 все эти прстые люди вздохнули, покачали головами. Посидели мы в суде, потом двинулись обратно. Я уме говорила, что меня привезли опять во внутреннюю тюрьму - видимо, пересылка была переполнена. Опять в ту же камеру. В это время вместе со мной сидели две женщины (о них потом), когда я сказала: «Десять лет» - они заплакали. А я не плакала. Я стала петь» Перепела весь свой «репертуар» - у меня был приятный голосок, я откуда-то знала много старинных романсов, и я пела, пела, и никто не подошёл к камере, не кричал, что я нарушаю режим, а ведь уже была ночь...И вот этой ночью врач поил валерьянкой маму...

Ещё август и сентябрь я провела во внутренней тюрьме. Соседки в камере менялись, не запомнила их, но потом появились две две девочки – Вера Соловьёва и Тамара Репина (в этой фамилии не уверена), ещё моложе меня, их тоже уже судили - за шпионаж, 58 - 6!

Они рассказали мне целый приключенческий роман, как они познакомились с молодыми людьми, бывали у них на квартире, какие там были журналы, какие передачи они слушали по радио, какими папиросами их угощали, какие вещи им дарили. Выдумать всё им трудно, уж больно они были простые фабричные девочки, но что-то было в них странное, возможно, они просто ввали много, и не было у них этого тяжеленного пункта, потому что Веру я встретила через несколько лет на железной дороге в лагере; уже вольнонаемной.

Так долго не бралась за свои листочки... И куда-то девался последний напечатанный листок, помню, что последняя фраза была: Кто-то крикнул: «Галя, иди сюда, здесь мама!» Совершенно не помню, как я оказалась рядом с мамой, мы рыдали, обнявшись, и рядом все плакали...

В пересыльную тюрьму, Коровники, где я встретила с мамой, меня перевали где-то в сентябре, большая камера, двухэтажные нары, большое окно (конечно, с намордником), которое вечером мы закрывали плотной чёрной занавеской. Чем кормили - опять совершенно не помню. Женщины в камере были самые разные - и воровки, и спекулянтки, и монашки. Оказывается, маму после суда сразу перевели в Коровники и назначили на этап, но она каким-то чудом узнала, что я ещё во внутренней тюрьме, вызвала начальника тюрьмы и умолила его не отправлять её до моего появления в пересылке. Она ждала меня два месяца, слава богу, за это время этапов не было.

И вот в начале декабря нас отправили... Об этапах написано много, вероятно я не скажу ничего нового. Обычный жёсткий вагон. Но всей длине - решетка. Окна с зарешеченной стороны наглухо заделаны. Ехали обычно ночью. Где-то в углу вагона, где сидела охранники, мерцал огонёк - что-то топились. Вот тут-то я помню, чем нас кормили. Утром в наше "купе" приносили ведро с водой, в котором плавали льдинки, нарезанный чёрный хлеб и на куске газеты разделенные на куски глюкоза и ржавая селёдка. Это на весь день. Нас в «купе» было двенадцать человек. В начале пути - нас везли недели три - хлеб был похож на хлеб, но где-то к середине он заплесневел, нам приносили что-то жуткое, от корки до корки натянуты нити плесени. Потом в каком-то городе получили хлеб посвежее. Перед этапом нас экипировали - выдали на ноги огромные ботинки, тому, кто был совсем раздет - телогрейки. Я была в пальто, значит, телогрейка мне не полагалась. Маму арестовали, когда она принесла мне передачу (как раз это пальто и еще что-то), на ней было шелковое платье с короткими рукавами, где-то кому-то оно понравилось, и маме предложили выгодный обмен вместо платья тулуп, в каком дворники дежурили зимой! Этот тулуп спас не только нас с мамой, но и всех, кто помещался рядом с нами. По ночам я тихонько просила выпустить меня из «купе» и долго смотрела в

темень за окном, на медленно проплывающие огоньки, мы тащились еле-еле...Куда нас везут, стало как-то известно к концу пути - Кировская область...

И вот мы приехали. Были сумерки, когда нас выгнали из вагонов на заснеженное пространство. Кого-то выносили, кого-то поддерживали под руки...Какой-то несчастный был весь увешан какими-то опорками - сумасшедший, видимо... Нас было очень много... Когда все вылезли из вагонов, раздалась команда: «На корточки!» И все - все! – присели на корточки. А мы с мамой ничего не поняли и продолжали стоять. Вот тогда-то я и увидела, как нас много... Пока те, что нас привезли, передавали нас местным охранникам, почти совсем стемнело. Нас повели к воротам. Встречала нас редкой красоты женщина с роскошной чернобуркой на плечах (потом я узнала, кто это - начальник Учётно-распределительной части - УРЧ - Лидия Александровна Ткачёва). Она стояла справа, а слева стояли люди, которые кричали: «Из Москвы кто есть? Из Смоленска? Из Ленинграда?».

[возможно, фрагмент утрачен]

А нас повели в баню. Да, я забыла сказать - нас все время пересчитывали, проверяли поимённо, вот и в бане опять начали выкрикивать наши фамилий. В предбаннике жарко топилась печка! Все женщины (нас разделили, мужчин куда-то увели) старались пробиться к теплу - впервые за почти что месяц! Я выждала минуту, когда около печки почти никого не было, подошла... Печку топил худой чернобородый человек кавказского типа. Он тихо спросил у меня: «Я правильно расслышал – Ваша фамилия Адасинская?» Я говорю: «Да». Он: «А Адасинский Антон Ипполитович кем Вам приходится?» Я: «Это мой папа!» Он: «Я сидел с ним в одной камере в Крестах»... Боже мой! В первые минуты лагеря услышать папино имя! Этот человек рассказал мне (всё так же тихо, поминутно оглядываясь) – папу вызвали на допрос, обратно в камеру приволокли бездыханного... Через пару дней опять вызвали - и опять приволокли еле живого. А на третий раз папа подписал всё, что ему предъявляли - шпион, диверсант, террорист... И его оставили в покое... А этого человека перевели в другую тюрьму, больше он ничего о папе не смог рассказать. И больше я этого человека никогда не видела, видимо, кто-то видел наш с ним разговор, и его наказали за нарушение режима - это я уже потом поняла.

Потом нас развели по баракам (нас с мамой в первые же минуты разлучили). Так началась моя жизнь на первом лагпункте Вятлага.

Первый лагпункт - пересыльный, после недолгого карантина людей рассылали на другие лагпункты. Сколько их было всего? Знаю, что был девятнадцатый, но возможно, что были и последующие номера.

Нас посмотрели врачи и определили, кого куда отправить работать. Я была до того худа и страшна, что меня зачислили в "слабосилку". На работу меня не гоняли, я «сидела на нарах» и потихоньку «доходила». Меня спасла такая случайность: как-то в барак пришла начальник КВЧ (культурно - воспитательная часть) Лидия Савельевна Гром и спросила, кто умеет вышивать. Ну, а я хорошо вышивала, о чем и сказала. Оказывается, на фронт посылали посылки - рукавицы, махорку и носовые платки, которые решили вышить! Мне принесли кусочек батиста, мулине, ножнички, иголки, и я блеснула своим умением. Мою работу увидели вольнонаемные дамы, и Л.С. стала приносить мне заготовки для ночных рубашек, комбинашек, а за это мне подкидывали то кусочек хлеба, то луковку и я немного оживала.

Ещё в декабре, вскоре после этапа, я познакомилась с четырьмя друзьями - Леонидом Фёдоровичем Линдбергом Дмитрием Михайловичем Паниным, Борисом Александровичем Рехесом и Юрием Львовичем Юркевичем. Все они работали в Центральных мехмастерских. О них, о каждом, потом поподробнее. А пока они очень участливо отнеслись ко мне, любили поговорить со мной, оберегали меня от «грязи» - если при мне кто-нибудь говорил: «Ох, и анекдот я вам сейчас расскажу!» - кто-нибудь из моих друзей тут же под каким-либо предлогом уводил меня подальше от рассказчика. Вечера мы коротали в «клубе», собирался народ после работы, пели, играли на гитаре, словом, как-то отвлекались от страшного быта. А жилось нам всем так тяжело, так холодно и голодно, зима 41 - 42 гг. в лагере была тяжелее ленинградской блокады. Лагерь с началом войны был снят с централизованного снабжения, и всю эту зиму нас кормили остатками случайно задержавшейся на складах пшеницы. То из немолотой пшеницы делали что-то вроде каши, то из молотой пшеницы - что-то вроде супа. Пшеницы и в том и в другом блюде было чуть, да и ту желудки совершенно не усваивали. Хлеб (вернее, то, что называли хлебом) был не каждый день. И очень скоро у людей начиналась голодная пеллагра, дистрофия, цинга. Пеллагра - неустержимый понос, доводивший человека до полного уничтожения... Шла по зоне, услышала разговор двух призраков: «Как Ваш желудок, голубчик?» - «Графиня, милая, нет сил поцеловать Вам руку, вот уже восемьдесят шесть раз бегал в отхожее...» Горько шутили: «Всё течёт, всё из меня...». Меня миновала пеллагра, только ноги были покрыты открытыми ранами. Наша медицина чем могла помогала нам, нас поили хвойным отваром, мазали наши раны, но, увы, результаты были ничтожными, люди умирали. Просто падали... Наш барак был около ворот, и ночью мимо нас на санях, а весной на телеге увозили мёртвых. Я видела, как из-под небрежно накинутой дерюги торчат ноги, руки...

В конце зимы я пошла к Ткачёвой и попросила отправить меня на какую-нибудь работу, чтобы получать хоть немного побольше хлеба. Она удивилась, сказала, что обычно её просят освободить от работы, но тем не менее перевела меня в рабочую категорию. Зимой я работала в железнодорожной бригаде - мы развозили на платформе песок для укрепления шпал, песок смёрзшийся, трудно было грузить его на платформу, затем сбрасывать на пути. Ранней весной меня отправили в бригаду по зачистке лесобиржи. Зимой из леса к железной дороге свозили лес, брёвна, которые потом отгружали в Россию. Оставалась площадка с обрезками брёвен. Вот эти отрезки мы и сносили в одно место (с тех пор у меня и нарушен шейный отдел позвоночника). Работали мы вместе с Верой Соловьёвой. Место нашей работы было огорожено веревкой с красными флажками, на высоком пеньке сидел охранник – «шаг влево, шаг вправо...» И вот нам с Верой понадобилось по малой нужде - куда деваться?! Голая поляна, вся на виду солдатака! Мы подошли к нему, попросили отпустить нас неподалёку в кустики. Разрешил. Мы пошли, и за полоской чахлах кустиков увидели большое совсем голое пространство, всё в каких-то оплывших глинистых холмиках. Мы посмотрели, посмотрели и вдруг поняли - это же кладбище! Кое-где виднелись узенькие дощечки, воткнутые в глину, с расплывшимися, неразличимыми чёрно-синими цифрами... Вернулись мы к работе, но очень долго обговаривали, обдумывали увиденное. Мы поняли, что это давнишнее кладбище. Потому что совершенно ясно - когда покойников везут ночью, «навалом», то ни о каких отдельных захоронениях с номером дела уже речи быть не может...

Потом меня направили работать уборщицей на строительство домов для вольнонаёмных. Маляры наводили последний лоск на комнаты - красили, белили (а белили не мелом, извёсткой), а я мыла после них полы. Руки у меня были разъедены до крови. Когда, слава богу, эта работа кончилась, мне «доверили» топить печи в комнатах - для просушки. А во многих комнатах уже жили люди. Но они все уходили рано утром на работу, так что я их и не видела, только ключи они оставляли. Несколько дней я топила комнату Л.С. Гром. Она приходила с работы с котелком супа и делила его со мной. Кормились вольнонаёмные не многим лучше з/к...

Весной 42 г. меня назначили на этап на сельхозработы. Кто-то из нарядчиков сказал мне, что на этап меня назначила Л.С., её раздражало внимание, которое оказывал мне Линдберг, она была к нему равнодушна. Скорее всего, это чистой воды сплетни, но сельхозработы с моими незажившими руками и открытыми язвами на ногах это для меня была бы гибель. И вот рано утром стоим мы, несколько человек, около вахты. Этап принимает начальник Производственного отдела Пичхая (з-к). Он прошёл вдоль нашего

ряда, внимательно разглядывая нас. (А мне одна женщина как раз посоветовала на завязывать ноги, а подсушивать раны на солнышке). Увидел он меня и говорит: «А мне полуживые не нужны!» И я была спасена! Пичхая - грузин, говорили, что и сестра его где-то в Вятлаге. И через пару лет кто-то сказал, что Пичхая умер от туберкулёза.

А меня гоняли по всяким мелким работам. Довольно долго я работала гладильщицей в прачешной. Как жена Калинина, счищала стёклышком гнид с белья, а оставшиеся трещали под утюгом...

Весной Мехмастерские перевели на 5-ый лагпункт, моих друзей, естественно, тоже. Уезжая, они сказали, что выцарапают на пятый и меня. И, действительно, в августе 42-го г. меня отправили на пятый. Если 1-ый лагпункт - пересыльный с непостоянным составом, то 5-ый - это центральный лагпункт, огромный, несколько тысяч народу, а за зоной - Управление Вятлага, так называемый «Соцгородок».

На 5-ый перевели и маму, с тех пор мы были вместе - у нас были разные дела и совместное прерывание не было нарушением лагерных правил. На 5-м была еще одна семья - мама и сын Русиновы, Инна Константиновна и Олег (или Игорь). Сначала я работала в Швейных мастерских, ремонтировали фронтовые простреленные ватники, шапки, плохо застиранные, пахнувшие дезинфекцией. Длинный цех, конвейер с электрическими швейными машинками, одни женщины, только механик-мужчина. Я строчила заготовки для рукавов телогреек. Это время - одно из самых омерзительных лагерных воспоминаний. В воздухе висит сплошной мат, через мою голову переговариваются женщины, обсуждая гнусные подробности своей интимной жизни, пыль, грязь... Меняхватило ненадолго, у меня начались приступы печени, сильные боли, меня укладывали на грудь «готовых изделий», а потом уволакивали в зону. Работали мы, как и все в лагере, по 12 часов, с 7 утра до 7 вечера. Начальницей Швейной мастерской была Лиза Рабинович, её отец, Ной Соломонович Рабинович, был вольнонаемным начальником мехмастерских, мать - Ева Соломоновна Рабинович - вольнонаемным начальником ОТК мехмастерских. Была ещё Лизина сестра - Беба, но с ней судьба меня не сводила. Вообще евреев в администрации лагеря было много. Говорили, что с началом войны из Белоруссии эвакуировали «ценные» лагерные кадры, вот и оказалось, что начальником 5-го, когда мы приехали, был Абкин (его сменил Портнягин), начальником Вятлага был Зильбер (его сменил Кухтиков), начальником Спецотдела был Гиндельман - много ещё было их, я просто не помню.

Когда я ещё работала в Швейных мастерских, мне пришлось участвовать в инвентаризации склада бесхозных вещей (видимо, на лбу было написано - честное существо!). Назначили меня и бухгалтера Химича, дали двух рабочих для переноски вещей

и мы приступали к работе. Склад бесхозных вещей - большущий двухэтажный сарай, в котором в поразительном для того времени порядке (на вешалках, стопками на полках) находились сотни, тысячи предметов одежды. Нижнее бельё, платья, костюмы, пальто, (всё это и мужское и женское), детские вещи... Одних носовых платков - связанная за самые уголки простыня... Не было только чулок, обуви и головных уборов. Я была в таком ужасе, когда увидела эти остатки чьей-то жизни... Химич рассказал мне, что в основном это вещи прибалтов, их ведь отправляли в 40 г. под предлогом спасения от немцев, разрешали брать с собой самое ценное, вот они и попали в Вятлаг с сундуками хорошей одежды, вероятно, были и другие ценности. Сундуки осели вот здесь, а люди - на лесоповал... Им было трудно, хуже, чем русским людям, они вскоре почти все погибли. Причём, как и у всех народов, женщины в большинстве своём выдержали. На пятом были и эстонки - больше всего - и латышки. Вот литовок не помню.

Да, так об инвентаризации. У нас в бараке была такая Рая Вильдман, инженер-химик из Латвии, здесь она работала в Швейной мастерской, рассказывала, что Лиза Рабинович хорошо к ней относится, помогает, чем может. Однажды Рая пришла с работы в красивой кофточке - на чёрном бархате яркие цветы - и похвасталась, что это Лиза ей подарила. И вот, когда мы пересчитывали женские платья, я вдруг увидела платье, длинное, вечернее, без рукавов, из той же материи, что и Раина кофточка. Конечно, кто имел доступ к этим вещам, соблазнялись ими. И вот почему на складе не было обуви и чулок-носок, самое дефицитное из одежды... Кстати, когда у нас организовался театр, артистов одели в хорошие костюмы и платья из этого склада...

Несколько дней мы пересчитывали вещи, перетряхивали их, проверяли сохранность (всё было в прекрасном состоянии). Рабочие-грузчики под свои телогрейки одевали то рубашку, то свитер - ведь до нас никто их не считал... Женщины в бараке, зная, где я работаю, просили меня что-нибудь принести, но я отговаривалась под разными предложениями.

Самая странная пора была у меня, когда меня назначили грибоваром (!). Я отказывалась, говорила, что представления не имею, что это такое, но меня уговорили.

Грибоварный пункт располагался в дальнем углу овощной базы на берегу маленького пруда. Огромный котёл, под которым я разжигала огонь, ворох деревянных бочек и бочоночков. С утра водовоз привозил и заливал в котёл воду, потом несколько раз в течение дня подвозили грибы - их приносили на базу женщины из окрестных деревень, выкладывали на длинные столы и разбирали - белые отдельно, прочие тоже делили по сортам. А я с утра получала всякие специи - перец, лавровый лист, гвоздику, листья смородины, укроп, что-то ещё. Первыми варила шляпки маленьких белых грибов. Передо

мною лежали рецепты, мне даже часы давали. Белые грибы выуживала большой дырявой ложкой в маленькие деревянные бочонки (ошпаренные, со всякими листиками на дне, всё по правилам!), потом в этом рассоле варила остальные грибы. Вечером приезжал рабочий, закупоривал бочки. Котёл с остатками рассола опрокидывали в пруд, а назавтра всё начиналось сначала. Вот так я целый день одна, очень далеко от других служб базы, провела недели две - три. Как-то утром я шла по берегу пруда и ногой сбрасывала в пруд камушки, щепочки... А на ногах у меня были маленькие галошки, уж не помню, кто меня ими наградила. И вдруг от резкого движения галоша с одной ноги полетела в пруд! Боже мой, единственная моя обувь! Плывёт себе, покачивается, а я лихорадочно соображаю, что же мне предпринять. И придумала - оглянулась, убедилась, что никого в округе нет, сбросила с себя свои одёжки и бросилась в пруд! Догнала свою галошину, выскочила, оделась и всё это успела до приезда возчика. Больше всего меня удивило, что вода в пруде, по сути, в сточной яме, была совершенно чистая, без запаха, без мути. Потом я решила, что пруд питается подземными водами и за ночь успевает очиститься. Вот так я искупалась единственный раз в лагере.

На эту базу шло ответвление железной дороги, по которой на базу завозили какие-то продукты. В частности, в те дни, когда я там работала, прибыло несколько цистерн с растительным маслом. Его насосами перекачивали в лагерные ёмкости, а то, что насос не брал, женщины в чистых резиновых сапогах собирали джутовыми мешками и выжимали в бочки - копошились там, на дне цистерн масло собиралось мутное, с волокнами от мешков, но всё равно, все старались утаить для себя в любую посудину. Я иногда приходила на самую базу - то грибы не подвезут, то соль кончится - и женщины всегда чем-то меня угощали, то морковиной, то капустной кочерыжкой. И вот когда появилось масло, женщины меня уговорили (даже банку дали) унести немного масла в зону. Мне так не хотелось этого, но мне говорят - хоть маму угостишь! Ну, ладно, взяла я эту банку, разулась босиком, поставила её в сложенные галошки, и пошли мы всей бригадой в зону. Бригаду овощебазы очень редко обыскивали, но в это день мы издали увидели суматоху около выходной вахты. Господи, что делать, куда девать злополучную банку, мы идём по деревянным мосткам, рядом ни кустика, ни травинки... Я отставала, отставала, в душе всё перегорело - какой стыд, и вот уже некуда деваться, я неживая подхожу к вахте, а обыскивал глухонемой нарядчик. Увидел меня и замахал рукой - «Проходи, проходи...». Таков был мой первый и последний опыт покушения на чужое, банку с маслом я за вахтой выбросила в канаву. Ох, и смеялись надо мной...

А потом меня перевели в Мехмастерские, где я проработала до 45-го г. Меня определили счетоводом. Я выписывала и отсчитывала наряды, выполняла всякую мелкую

счётную работу. Приобщал меня к бухгалтерской премудрости главный бухгалтер мехмастерских Василий Павлович Каплин, святой человек, его наука спасала меня всю мою последующую жизнь. Он волжанин, знал Волгу с верховьев до низа как свою ладонь, для него не было большей радости, как рассказывать о Волге, чем мы иногда и злоупотребляли - когда уставали, меня толкали в бок или в спину - я сидела напротив В.П. - и я умильным голосом спрашивала: «Василий Павлович, а правда камышинские арбузы самые вкусные?» или что-либо в этом роде. В.П. расцветал, одной рукой все бумаги сметались в сторону, другая рука подпирала щёку, и начинался чудесный, подробный рассказ, где какие сорта арбузов выращивали, куда их отправляли, сколько они стоили и т.п. Такой отдых нашим душам!

Поэтому мне неприятно было читать безапелляционные (очень страшные, конечно) рассказы Шаламова - он уверяет нас, что зверства и произвол царили во всех без исключения лагерях. Подтверждением, что в Вятлаге на 5-м лагпункте во всяком случае было не так, служат воспоминания Ю.Л. Юркевича, не только мои. И Ю.Л., и я считаем, что нам повезло.

Кстати, из Юриных воспоминаний я выяснила, что я ошиблась - Юра после освобождения из изолятора некоторое время ещё был на пятом и работал у Бориса на Дрожжевом заводе, лишь в августе 1944 года его отправили в Кунгур.

Вот так и тянулись лагерные годы. Зимой 42-43 гг. я познакомилась с Полем Марселем, он только что освободился из лагерной тюрьмы. О нём придётся рассказать подробнее, мы была близки с ним несколько лет. Но во порядку. Поль Марсель, композитор, известный в конце 20-х, начале 30-х годов, автор нескольких популярных в те годы песенок (кстати, он первый написал музыку на «Гренаду» Светлова), - «Дружба» («...Когда простым и нежным взором...»), почему-то сейчас её приписывают какому-то Сидорову! «...Молод и горяч жил один скрипач...», «...В притоне трёх бродяг...». Он закончил Ленинградскую Консерваторию, учился вместе с Шостаковичем. Глазунов, бывший тогда директором Консерватории, сказал о нём: «Большой, но неорганизованный талант». (Это по словам Поля). Он много рассказывал о себе, но я вскоре убедилась, что он очень склонен к лжи, многие его рассказы не имели ничего общего с действительностью. Так что расскажу о том, что происходило на моих глазах. К тому времени, когда Поль выкарабкался из лагерной тюрьмы, Кухтиков уже решил создать в Соцгородке при Управлении театр. До этого существовала Агитбригада, основу которой составлял Джаз-оркестр Леонида Лео (настоящего имени не знаю), несколько хороших музыкантов, сам Лео играл на всех инструментах, пел, сам сочинял тексты своих куплетов, подражая Леониду Утёсову. Талантливый был человек. И вот этот оркестр стад

основой оркестра Театра (помню - Витя Дроздов – кларнет, Цай Обон – саксофон), нашлись профессиональные певцы и певицы (Тоня Лааман, сопрано, солистка Эстонского Оперного театра, Петр Горский, баритон, солист Горьковского Оперного, Дуся Коган, солистка Свердловской оперетты, меццо-сопрано), Толя Касапов, из Вахтанговской школы-студии.

Театр называли «Музыкально-Драматический Театр Вятлага» а уже 8-го марта 1944 года спектаклем «Запорожец за Дунаем» театр открылся. Это было просто сделать, потому что в репертуаре Агитбригады было несколько концертных номеров из «Запорожца». Но Кухтиков мечтал об оперетте! По его распоряжению, или ещё почему-то, решили ставить «Сильву»! Ничего не было: ни нот, ни либретто, где-то у вольнонаёмных нашли несколько пластинок с ариями из «Сильвы», Полю в барак дали патефон и вот мы с Полем крутили эти пластинки, он записывал музыку, а я - текст. Вдруг откуда-то стало известно, что «Сильву» ставил театр Воркуты, феноменально быстро привезли из Воркуты все материалы по спектаклю, партитуру, клавиры, и работа закипела. Премьера «Сильвы» 30 апреля 1944 года - это было настоящее открытие Театра! Сильву пела Тоня Лааман, Эдвина - Келлер из трудмобилизованных немцев, красивый человек с хорошим голосом, Тони танцевал и пел Леонид Лео, Ферри - Толя Касапов. Костюмы - вот тут-то пригодились запасы склада бесхозных вещей! Декорации тоже были очень удачны. Поль дирижировал оркестром (он был музыкальным руководителем театра). Спектакль получился очень нарядным, ярким, артисты, оркестр - это был просто праздник. Начальство было очень довольно, кого-то премировали, выдали продовольственные подарки, но не это было главное, а то, что люди занялась своим родным делом, и делали его от всей души, радуя всех. 11 июля 1944 года поставили инсценировку по «Василию Тёркину». 6 августа 1944 года - премьера «Марицы». 29 октября 1944 года – «Баядера». 7 ноября 1944 года – «Свадьба в Малиновке». Затем была «Роз-Мари». И кажется «Цыганский барон». Но дальше - меня уже из театра попросили (она не умеет улыбаться!), и я вернулась в Мехмастерские. Параллельно с Театром существовала и концертная бригада, в промежутках между спектаклями в том же клубе Соцгородка устраивалась эти концерты. Поль играл на пианино (рояля, по-моему, не было) и пел! - самая удачная его песенка – «В деревне бедный парень жил, эллон-лалле, эллон-лалла...», потом какая-то «Там, где Ганг струится в океан, где так ярк синий небосклон...». И та, и другая - такие страсти, такой надрыв, а так как Поль говорил (и пел) с очаровательным акцентом, это производило (на дам особенно!) огромное впечатление. Показывал очень сложные и интересные фокусы Дин Дзи Мин, не разрешая никому быть за кулисами, за сценой! Пел куплеты и танцевал чечётку на шахматном столике Пётр

Семёнович Фредин, красивый человек с живыми карими глазами, с обаятельной белозубой улыбкой; после одного из концертов кто-то из в/наемных спросил у него: «Вы итальянец?». П.С. гордо вскинул голову и сказал: «Я - евреянец!». Все, кто был около него, зааплодировали ему. Пела украинские песни Тоня Кайдаш. Даже я, со своим маленьким голосом, что-то пела! (Помню песенку «Вьётся лёгкий пушистый снежок...», потом что-то военное... «Иди смелее в бой, рази врага...»).

Это со сцены, а «в узком кругу» - в бараке, в клубе я пела старинные романсы. Я много их знала. Аккомпанировал мне на гитаре полковник (з/к!) Мельников, Николай Васильевич. Играл он бесподобно и пел хорошо, у нас такой славный дуэт получился. Моё скромное пение тоже облегчало лагерную жизнь.

[возможно, фрагмент утрачен]

Мои друзья работали - П.Л.Юркевич конструктором, Б.Рехес - начальником планового отдела, Д.Панин - нач. ОТК, Л.Линдберг - нач. механического цеха, но не долго, его вскоре освободили. Незадолго до его освобождения мне приснился сон - я иду к Л.Ф. на день рождения, в руках у меня пучок вербы, несколько веточек с пушочками. Вроде я захожу в его комнату, протягиваю эти веточки, а комната освещена потоком солнечного света из окна. Сам Л.Ф. во сне отсутствовал, но когда я проснулась, на душе было так празднично! Я рассказала сон старушке, которая была талантливым толковательницей снов. Она сказала: «Он скоро освободится!». И действительно, через несколько дней Линдберга вызвали на освобождение. Мы диву давались - война в разгаре, никого не выпускают, и вдруг - свобода! До ареста Линдберг работал нач. цеха на каком-то крупном заводе в Ленинграде и арестовали его в начале войны за то, что цех не справился с каким-то военным заказом. Через несколько лет Ю.Юркевич встретил его в Кунгуре, вольнонаемного, начальником колонии при Пермском пушечном заводе. Ну, об этом потом.

Основной контингент рабочих Мехмастерских - ленинградцы, питерский пролетариат, хорошие, спокойные люди. Нас, женщин, работало в ЦММ немного, человек пять - шесть, и наши питерцы следили, чтобы отношения между людьми были человеческими, чтобы новички, которым попадали в ЦММ не ругались матом - это было таким чудом, особенно после Швейных мастерских. Постепенно, с расширением войны, у нас начали появляться военнопленные - немцы, итальянцы, поляки чехи, венгры.

Каждая нация держалась особняком, друг друга терпеть не могли, и все дружно ненавидели немцев. В конторе у нас работало (конструкторами) два венгра и два немца. На работу их приводили позже нас, немцы входили, буркали под нос неразборчиво "морген", вставали только в обеденный перерыв, когда пленным привозили кофе (!) и

булочки (!), вечером тоже что-то буркали под нос и - до следующего утра. За весь день - ни с кем ни слова. А венгры - простые весёлые ребята, старательно учили русские слова (на листке бумаги рисовали всякие предметы, а я писала их название по-русски и латинскими буквами). Вскоре они уже могли кое-как объясняться. Понемногу количество пленных уменьшалась - увезли итальянцев, потом венгров и румын, чехи и поляки ушли в созданные к тому времени национальные антифашистские воинские формирования. Так что опять работали, в основном, мы, з/к и трудмобилизованные немцы, наши немцы из Республики немцев Поволжья, главным образом.

Так прошёл 42 г. И вот в марте 43 г. приводят нас на работу, и я узнаю, что арестовали весь цвет Мастерских, лучших рабочих, моих друзей - всех четырех: настоящий разгром! Что случилось - никто ничего не знает, все в ужасе... Их всех посадили в лагерную тюрьму - за зоной 5-го стояло длинное унылое одноэтажное здание. Ю.Л. был в близких отношениях с очаровательной вольнонаёмной девушкой, Э.Г., с которой мы хорошо дружили. И вот мы с ней стали ломать головы - как помочь нашим друзьям, мы знали, что там они будут вов[обрывается]

[возможно, фрагмент утрачен]

и как передать этот кусочек, да таи, чтобы сегодня одному, а завтра - другому?! И я рискнула - в нашем бараке жила Александра Васильевна Ларина, о которой мы все знали, что она стукачка. Но она работала завхозом в изоляторе. И вот она согласилась мне помочь. Э. приносила луковицу, немного табаку, я добавляла хлеб, и я делала пакетик, и отдавала Лариной. Никаких записок мы не передавали, на это у нас ума хватило. На работе, тем временем начали вызывать на допросы - то кого-то из цехов, то из конторы... И постепенно мы узнали, что их арестовали по обвинению в организации вооружённого восстания и побега из лагеря! Что Д. Панин «раскололся», признался, что, действительно, они собирались бежать! И как-то шла в ОТ где теперь всегда была Ева Соломоновна Левинсон. Я у неё подписывала наряды. Перед кабинетом начальника был коридор, по стенам которого были шкафы с ячейками, в которых лежали готовые изделия. (Мы делали трубочки для миномётов). И вот я иду этим коридором, смотрю - Панин! Вокруг него люди в военной форме и он, стоя лицом к шкафам, растерянно говорит: «Я сам прятал карту вот в этой ячейке, где же она...» Я это слышала своими ушами...

С Э.Г. мы сидели друг против друга, и однажды в контору вошёл охранник, спросил: «Адасинская - кто?» Я отозвалась, он сказал: «Пошли». Э. побледнела до синевы... Привели меня в какой-то большой кабинет. Человек, который сидел за столом, представился: «Майор...» не то Борин, не то Кожин, я не уловила, но звучало как-то так. Наш разговор: «Садитесь. Фамилия, имя?» «Адасинская Галина». «Галина? Галочка? Так

вот Вы какая птичка! С врагами народа сотрудничаете! Подкармливаете их! Переписку затеяли!» Я: «Ну, какое это подкармливание, если я иногда передавала им пайку хлеба». Он: «Откуда хлеб брали?!» Я: «Моя мама работает в пекарне, там есть возможность получать бракованный хлеб. А свою пайку мама отдавала мне, я всегда делилась ею с другими. А что касается переписки - никакой переписки ни с кем у меня не было». Он: «Как не было?! А это что?!» И он выгребает из стола кучу записочек, хватая одну за другой и читает: «Дорогая Галочка», «Милая Галочка!» Я говорю: «Но эти записки у Вас, значит, я их не получала. И вообще должна Вам сказать, что я знаю, кто Вам и записки эти передал и о хлебе рассказал -это Александра Васильевна Ларина, завхоз изолятора, вся зона знает, что она стукачка». (Когда вечером я пришла с работы, Лариной в бараке не было, и я больше никогда её не видела).

Майор промолчал, положил передо мной листок бумаги и сказал: «Пишите всё о ваших отношениях с П., Р., Ю. – о чём они при вас говорили, какими планами делились - всё, всё». Я написала: «что П., Р., Ю. знаю только по работе, что по своим счетоводным обязанностям оформляла и подписывала у них наряды, что никаких особых разговоров в моём присутствии не велось, какой я им собеседник, они все чуть ли не вдвое старше меня. О хлебе написала. И всё. Маленький такой листок, четвертушка бумаги. Майор прочёл, вызвал охранника... и отпустил меня! Пришли мы в мехмастерские, Э. схватила меня за руку

[возможно, фрагмент утрачен]

по чьему-то счастливому недосмотру, прямо навстречу нам через вахту вошла группа людей из изолятора. И мои милые друзья! Я бросилась к ним, как они меня обнимали! И кто-то успел сказать, что мой листочек оказался единственным, где о них ни было сказано ничего плохого. Даже Зелик Ротштейн, чудо-слесарь, которого они считала своим другом, умудрился написать, что Рехес срывал людей с выполнения военного заказа, отправляя их на уборку территории! Их тут же куда-то увели, а нас повели на работу. Вечером я узнала, что Юру увезли. А Борис проглотил кусок мыла, у него начался кровавый понос и он, естественно, на этап не попал. Его положили в стационар в зоне, я побежала к нему, меня сначала не пускали, но потом я навещала его беспрепятственно. И тут молодец Э. - она чудом раздобыла где-то глюкозу, и Борис вернулся с того света. И тут произошла странная история. (Да, забыла сказать - они были под следствием что-то около года, если не больше. Надо будет спросить у Юры). Как-то в мехмастерские опять за мной пришёл охранник и привёл к тому же майору - Кожину или Борину. Это было, когда Борис ещё лежал в стационаре. И этот майор говорит мне: «Я знаю, что Вы навещаете Рехеса, хотя это запрещено. Вот передайте ему пакет». Я не хотела даже брать в руки то, что он мне

протягивал, но увидела, что на большом конверте рукой Бориса написано «Рехес». Взяла. Вечером побежала к Борису, он даже порозовел, когда увидел конверт, разорвал его, и оттуда посыпались письма и фотографии его жены, Софы... (Он раньше показывал их мне). Как понять, почему этот майор поручил мне такую в общем-то добрую миссию? Не знаю, не знаю... А я ошиблась - это Юру сразу же отправили, в Кунгур, как потом выяснилось. А Панин какое-то время ещё был на 5-м, я вспомнила, что как-то он подошел ко мне, тихо сказал: «Спасибо» и положил мне на стол пакет с табаком. Я считала: что его нежелание говорить со мной подтверждает, что он наплел небылиц на себя и других, и его подарок был мне неприятен. Я тут же весь этот табак раздала всем желающим. Говорили, что его отправила в Норильск. У Солженицына упоминается Д. Панин (это когда он пишет о событиях в Экибастузе), а много лет спустя кто-то мне говорил, что слышал выступление какого-то Д. Панина в «Свободной Европе» - тот ли, нет? А Ю. писал мне из Кунгура - только-только его привезли, ведут по зоне, а навстречу Линдберг! В вольнонаемном белом полушубке, в окружении свиты, увидел Ю. и прижал палец к губам, не шевельнув даже бровью...А вечером прибежал в барак кто-то, кричит - Юркевич, к начальнику. Привёл его к начальнику, Ю. зашёл в кабинет, а там Леонид! Он закрыл дверь на ключ, усадил Ю., уселся сам, и они потихоньку спели свою «фирменную» - «Я в Барселоне, на прошлой пятнице...» Я знала, что есть у них такал любимая, полунеприличная песенка, но никогда мне не довелось слышать её, кроме вот той, первой фразы. И Леонид рассказал, что его прямо из Вятлага привезли в Москву, в мин. обороны, и, присвоив ему какое-то воинское звание, отправили командовать вот этой Кунгурской колонией. Ю. (он получил восемь лет) пробыл там до 1951 года, и все эти годы Л., как мог, облегчал Ю. лагерное существование. Потом Ю. отправили в ссылку в Красноярский кр., в соседний с нами район - Абанский, а мы жили в Долгомостовском. В 1955 году Ю. реабилитировали, он поехал в Москву. И в один из первых дней московской жизни на улице Горького он встретил Леонида! Ой нет, вру, это было вовсе через несколько лет, ведь мы уже жили в Ленинграде. Ну, конечно, Юра написал мне, что встретил Леонида (он был в Москве в командировке), написал, что он работает гл. инженером инструментального завода «Ильич», я тут же в справочном узнала его телефон и позвонила. - Здравствуйте, говорит Адашинская. - Кто? Простите, запомятовал. - А помните пятый? Галочку? - и дикий вопль в телефоне – Галочка! Где Вы?! И мы тут же договорились встретиться. Сидели мы на большом, у Чванов, вспоминали, перебивая друг друга, слёзы все время наворачивались на глаза, он спел прелестное танго «Недотрога» (его коронный номер, он хорошо играл на гитаре, голос у него был приятный). Вспомню ли я?

муз. Титова, сл. Козырева

Ты грустишь дорогая,
Вниз ресницы склоня,
Ты как будто чужая,
И не любишь меня.
На меня ты не взглянешь,
Не расправишь бровей
Если б, милая, знала, как ранишь
Сердце мне грустью своей.
Все мне, родная, открой
Что с тобою, друг мой,
Если в сердце тревога,
Ты со мной поделись
Дай мне руку, моя недотрога,
Милая, мне улыбнись.
Успокоятся бури
И промчится гроза,
Вновь сияньем лазури
Расцветут небеса,
Ты с улыбкой, как прежде,
На меня погляди,
Верь же, милая, светлой надежде –
Счастье нас ждет впереди.
Все мне, родная, открой
Что с тобою, друг мой,
Если в сердце тревога,
Ты со мной поделись
Дай мне руку, моя недотрога,
Милая, мне улыбнись...

Вроде бы все...

И вот что он сказал – Вятлаг – это были золотые страницы моей жизни...

... Такие люди, такие друзья...

Ю. прислал мне свои записи за 15 лет, с 1940 года. Конечно, воспоминания о Вятлаге у нас с ним кое в чем расходятся, но главное – что в Вятлаге не было колымских и воркутинских зверств, что там легче было остаться человеком. Самое тяжелое – голод, который мучил нас страшно. Мне и тут повезло, у меня образовалось сужение желудка, я не так страдала. Хлеб мы с Э. уже не передавали, страшно было, я просто свою резервную пайку, отдавала соседям, около меня всегда были хорошие люди. Такая забавная деталь - ни маму, ни меня не кусали клопы, они около нас не селились! Эту странность быстро уловили женщины в бараке и ссорились за право спать около нас! А клопов изничтожали дремучим способом - в тёплые дни нас на сутки выгоняли на улицу (без вещей!), в бараке на железных листах зажигали куски серы (двери и окна замазывали глиной), и действительно на какое-то время эта нечисть убывала. В бараке нас было, говорят, 180 человек, самых разных конечно. Да, барак был двойной, коридор с парашей и умывальником (зимой) отделял нас от другой половины, такой же населённой. Мы мало общались друг с другом, такие усталые, голодные, замерзшие приходили с работы, что было не до общения. И еще такая деталь: конечно, воровали в бараке страшно, вечерами, когда женщины приходили с работы, то из одного угла, то из другого раздавались крики, плач... Женщины, как могли, по-своему пытались бороться с воровством – вешали на свои ящички хитроумные замки, прятали вещи в самых неожиданных местах - ничего не помогало! А мы с мамой за все годы ни разу не заперли свои «чемоданы», и у нас никогда ничего не пропало. Но как-то повели нас в баню. В предбаннике забрали грязное (рубашки, штанишки и чулки мы стирали сами), выдали чистое, мы свернули свои тряпочки и пошли мыться. Выходим одеваться - нет мамино узелка! Мама сказала банщице, тут же закрыли дверь - обыск! И вдруг из дальнего угла вся в слезах подходит такая Галка Евстратьева, воровочка, тащит мамин узелок, рыдает. «Ой, тётя Саничка, простите, я не знала что это ваше, да я бы никогда, да я бы ни за что...» И смех, и грех. (Кстати, мы с мамой всегда звали её Галей, Галкой). И ещё в первые месяцы лагерные, на первом лагпункте, когда я вышивала вольнонаёмным дамам, у окошка столовой, куда я пришла за завтраком, у меня из кармана телогрейки стянули мешочек с вышивальными принадлежностями - кусок батиста, нитки и маленькие ножницы, всё чужое, доверенное мне. Я бросилась к нарядчику Толе Литвиненко (такой громила со стальными зубами), он жалел нас, Веру, Тамару и меня, по первости подкармливал нас лишней порцией баланды (бескорыстно!), звал нас «дочки». Вот к нему я и побежала. Он сказал: «Всё будет в порядке» и через полчаса принёс мне мой мешочек, сырой от снега, в который его успел закопать до лучших времён вор. Служба осведомления у него была на высоте!

Мне рассказывали, что, когда с началом войны Вятлаг перевели в категорию полурежимных лагерей, из него вывезли в Воркуту всю бандитскую верхушку. Урки, оставшись без своих главарей, вели себя достаточно пристойно, во всяком случае, террора с их стороны мы не испытывали. Да и что было у нас брать, одеты мы были одинаково, ели такую же баланду, посылок не разрешали, ларька не было. (Эти блага дошли до Вятлага только в 1947 году). Работа была тяжкая для всех, бытовички и 58-ая одинаково рубили сучья на лесоповале.